К 1443766
ос

ОН ВИДЕЛ ЖИЗНЬ
с Бобришного угора

IV часть

«Я ОБРЕЧЕН НА ПОДВИГ»

Александр Яшин — национальное достояние России

ОН ВИДЕЛ ЖИЗНЬ С БОБРИШНОГО УГОРА

Часть IV

Составитель — ***М. В. Береснева***

ОН ВИДЕЛ ЖИЗНЬ С БОБРИШНОГО УГОРА: Александр Яшин. Дневники 1958–1968 гг. Стихотворения. Воспоминания современников. Часть 4. «Я обречен на подвиг». — Никольск — Вологда, 2012. — 56 с.

В дневниках 1958-1968 гг. в полный рост встаёт неприукрашенный Александр Яшин. Образ поэта дополняют стихотворения данного периода, а также Венок посвящений.

Александр ЯШИН

* * *

Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел
свободно
Не в силах изменить,

Что этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.

Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор
О доблестях, о славе
Не завожу с тех пор.

Что ждет меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.

У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
Что даже погордиться
Собой охоты нет.

А други смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троеперстно
Или крестом иным.

Как рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешон.
Да нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?

Земли не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.

1966

БОБРИШНЫЙ УГОР

Из дневников 1958–1968 гг.

1966 ГОД

4 апреля. Последний спецрейс в Никольск с грузом, меня берут. АН-2 — везут паркет. Сижу между двух пилотов, обзор хороший. Блудново. Мать здорова, живет в разделе, в старой избе.

6 апреля. Вечером сходил на Бобришный Угор. Дом стоит. Выбиты два стекла в чердачном окне, и все. В сенях — связки «листа», сено. В лесу вся земля (снег) усеяна семенами леса (ели — семечко с крылышком). Река синяя. Забереги — уже не перейти.

7 апреля. Сегодня Благовещенье, великий четверг, день, когда нельзя работать. Мать вчера доткала полотно, убрала стан. Выдала мне Библию и отцовское Евангелие.

Улица деревни завалена свежим лесом,— строят и ремонтируют избы, школу, ставят столбы для электролинии.

Под каждой хвойной иголкой, под сучком, даже под клочком березовой коры, похожим на обрывок тетрадной бумажки,— снег подтаял, словно прогнулся, словно вмятина образовалась в нем, хотя что может быть легче хвойной иголки или березовой бумажки.

9 апреля. Записи на пути к Югскому кордону. Слова матери: «Лес в тумане, это снег горит», «Да ведь штё!», «Поляши уркают по утрам».

Показалась озимь из-под снега. Выжила... Думал, капельки на кустах, а это верба распушилась. Текут, текут весенние потоки через перекладинку, через колодины, по мостику, все размывая. Все размоют... Утро наступает. Рябчики свистят. Тетерки квохчут. А я говорил, что жизнь надоела.

Летел спутник над Гладким бором, на глухарином току (около 4-х часов). Заяц «боботал» всю ночь. Весной, как на фронте, все необычно, все надо повидать самому (на току, на берлоге).

10 апреля. Река местами уже освободилась ото льда, происходит подвижка заторов. Прилетели утки. Две садились на исаде под Угором, но двинулся лед, зашумели кусты — и они улетели.

14 апреля. Сидел на току в собственном шалашике в Летовищах. Тетерева еще очень осторожны. Чуфыкают, воркуют, но на деревьях. Видимость тока, видимость драки — и улетели. Пошел лед. Льдины

мелькают многоцветные, как в калейдоскопе. Вглядывайся, как в сучки, в узоры на потолке и воображай, что захочешь.

15 апреля. Второе утро в шалаше. Тепло, сыро. Тетерева на деревьях часов с 5 утра. Еще в темноте прохоркал один вальдшнеп в стороне Мокруш, с криком прилетали утки, поют дрозды, со свистом крыльев носятся чибисы (высший пилотаж), бобочет заяц. Лед прошел. На берегах много льду — значит, «будет тяжелый год для людей» — говорит мать.

17 апреля. Ребята с жадностью смотрят на мир через бинокль: «Ой, паре, рядом — прибежало все». Так один посмотрел в бинокль на реку и испугался: утонуть можно, вода под ногами.

Послезавтра поминание родителей (вторник). Стало уже известно, что трактор с молоком не пойдет в Пермас, как обычно,— видимо, чтобы на тракторной тележке не ездили женщины на кладбище.

19 апреля. Радуница. Бабы ушли в Пермас на поминание родных покойников. Как можно противиться такому чувству людей, а противятся еще и теперь. А недавно и вовсе запрещали ходить на кладбище.

20 апреля. Часов в 12 дня — переселение на Бобришный Угор. Не был всерьез уверен, что останусь ночевать в избе, пока не пришел туда и не увидел, как удивительно теперь на реке. Разлив сильнейший, исада под Угором вся уже в воде, а все поднимается — силища. Лес идет. А по радио утром передавали наряд для бригад по разгрузке прибывающих в район самоходных барж. Вероятно, этот лес останавливают перед Никольском на запанях.

Редкое волнение испытал я. Раньше, когда был помоложе, я, наверно, кричал бы от восторга.

Мама и Саня готовят еду для меня, топят печь. Разложил свои тетрадки и гляжу в окно, наглядеться не могу. Здесь ли бы не писать мне. А я записываю изредка отдельные стихотворные строчки.

Во второй половине дня пошел сильный дождь, почти ливень, и над землей, особенно там, где еще снег, поднялся пар. «Горит снег!» — повторяют мать и сестра. Значит, вода еще пойдет вверх. А я уже и такого половодья, кажется, не видал ни разу.

Мать и сестра ушли домой под дождем. Я остался и рад. Удивительное чувство покоя. Пожалуй, сейчас я понимаю отшельников, старых русских келейников, их жажду одиночества. Это не от религиозности, а скорей от усталости, от пережитых душевных ран и, м. б., от возраста. Желание уйти от обидной шелухи и жалкой рабской суеты жизни, внутренне сосредоточиться — это, конечно, легче понимается как поиски Бога. Мне здесь так хорошо, что, пожалуй, и я святым окажусь.

21 апреля. 6 часов. Бобришный Угор. Встал в 3 часа. Земли нет, лесу нет, неба нет — все в белом. И в этой белой мути где-то внизу на невиди-

мой реке невидимо постукивают плывущие бревна. Их невидимо много. За рекой в Летовищах против Бобрих в шалаше ночевали сплавщики. Там сильно токовали тетерева (на деревьях), я пошел искать ток. Оказалось, что высокий берег на Бобрихах уже почти непроходим, вода со страшной силой переходит в озеро. Я шел берегом «к воротам» Чистого бора и вдруг понял, что вода может окружить меня как зайца, а деда Мазая поблизости не окажется.

22 апреля. В 9^{30} слушал выступление Тихонова: в этом году по литературе премий не присуждено никому.

Самое примечательное в охоте на весенних тетеревиных токах то, что птицы эти, в другое время почти недоступные человеку, осторожные, неуловимые, становятся до жалости беспомощными, неосторожными, почти сами в руки лезут, только бей. Хитрая бестия человек, он всегда находит время и случай, чтобы использовать слабости других существ из живого мира в своих целях: рыбу губит во время нереста, когда она сама напролом идет в сети, птиц — на перелетах, на токах, рябчиков берет на манок, уток на подсадных, на чучела, зверей в месяцы спячки и т. д.

Стихи об охоте. Я же хотел целую книжку написать.

Записи, сделанные в разное время в Блуднове:

Принялась моя сосенка, корни в землю пустила, только б гусеницы не слопали, не оголили — слабовата еще.

В бане воду греют деталями от тракторов — шестеренки всякие, крепления, разные куски железа. И на колодезном журавле в качестве противовесов тракторные детали.

Схороните меня на Бобришном Угоре. Дом построен, а сил для жизни уже не осталось.

Солнце заходит и всходит. Жду утра, жду весны, над рекой, над миром, водополья, раздолья. Хорошо на земле сырой... А я говорил, что жизнь надоела...

27 апреля. И опять не хочется сидеть за столом. Меня уже пугает необходимость даже малейшего напряжения, малейшего усилия над собой. Месяц за месяцем пустые в жизни, как пробелы в дневниковых записях.

Человек идет по снежному насту, как Христос по заливу, и кажется огромным, высоким. Но вот он проваливается, и сказочное (евангельское) видение исчезает.

28 апреля. Ушел в Скочково. Анна отдала пояс такой же, как от Миши Баринова. Другой — современный, приготовленный для себя в гроб, но слишком прост, бледен, и я, видно, его не возьму. Такой же с продольными полосами (продольный для покойницы) взял и

у Пали, но тоже, кажется, надо вернуть. Анна называет цвет зеленый — озимной.

— Что узок поясок-то соткала для себя? — спросил я Палю.

— А на что крепкий на том свете, того гляди, и там за пояс топор заткнут, если крепким повяжешься.

Бездеятельное тщеславие порождает злобу и зависть, ничего больше.

29 апреля. В 2 ч. ночи Анна поставила самовар и снова легла. Вот человек, который не знает, что такое лень.

— Ты хоть ленилась когда-нибудь?

— Как это? Ведь ежели немочи нет, так поштё лениться?!

В 3 ч. ночи пришел Василий, чтобы идти искать ток. Вышли мы уже часа в 4, светло. Холодно, сильный северный ветер, тетеревов почти не слышно. Полетели белые мухи.

Василий Ильич говорит:

— Все еще снег просится. Потки чуют задержь, вот и не токуют.

На голые поля, на которых должна быть озимь, он смотрит почти спокойно. Я нервничаю, переживаю, хотя поля-то его, а не мои, но ему, видно, это впривычку.

— Вот и жди урожая! — говорит он. И опять про погоду: — Все еще снег просится.

Для стихов. ...У меня ненасытная жадность к природе. Не предчувствие ли конца? (Своего.)

Анна хвалит свой колхоз. Поставил его на ноги Воронин.

— Он и огонь провел, и двор поставил. А сейчас осиновский его заместитель правит. Ничего!

А я увидел загубленный лен у самой деревни, на задворках — в снопах на полосе и даже не вырванный. Оказывается, под снег ушло и целое поле овса.

— Как же,— говорю,— хвалишься, и что люди задорно работают, а лен под снегом сгноили. Почему не убрали?

— А не успели, снег пошел.

— Свой был бы, как раньше, убрали бы весь.

— Как бы не убрали, конечно бы, убрали!

— Наверно, жалко было глядеть, как лен снегом заносило.

— Конечно, жалко! Как не жалко.

— Лучше бы уж растаскали для себя, а то ни Богу, ни людям — какая польза?

— Конечно, без пользы. Так ведь побоялись для себя-то.

— Наверно, за одну бы ночь все подчистили, если бы разрешили?

— Конечно бы, подчистили, как не подчистить за одну ночь.

— А почему для колхоза не убрали?

— Дак ведь снег пошел. Да и наряда не было, был бы наряд — пошли бы, сносили бы снопы куда-нибудь, но бригадир не распорядился. За это его, поди-ко, и сняли с работы...

Так со всем, во всем. Отбита у людей охота к работе. Глупостей, обидных для тружеников, делается много и сейчас. Навезли минеральных удобрений, рассеивают их — план! попробуй его не выполни! — а свой навоз из дворов в огромном количестве лежит в высоких кучах и на полях, и по деревне у дворов.

Анна рассказывает о себе, о своем мужике, Илье Кузьмиче Поникарове, погибшем на войне, о своей жизни. «Разные у нас люди: одни жалеют, другие радуются, что у соседей горе».

— А что это у вас с Сашей-то случилось? Как это он?

Она, как и другие, долго либо совсем не спрашивает об этом, пока сам что-нибудь не скажешь. И если я отказываюсь вспоминать, неловко, совестливо извиняются и замолкают. А однажды я не отказался отвечать.

— Ничего не знаю толком, Анна.

— И то сказать, где толком об этом узнаешь. Наверно, много о жизни стал думать, вот и дошел до эдакого. Ему надо бы жить да жить себе, а он стал думать о жизни, вот тебе и все тут. Сердце-то и не выдержало,

У меня потекли слезы. Тогда Анна добавила:

— А ты уж сам-то не расстраивай себя. Забывать надо, а то как...

— Разве ты о своих не ревела?

— Как не ревела! Ревела и я, пока хоронила. У меня все маленькие умирали. Месяца два живут, а то и до года бывало. Свекровка все говорила: не реви, маленькие умирают, значит, хорошо после жить будешь, легко. Эти-то двое, которые выжили — Васютка и Нинка — у меня были, как ищейки, худющие. А те, которые умирали, все белые да мягкие, как на опаре подымались. А всё умирали. Видно, земля-то вырастит поскорее и берет себе. Ревела и я, конечно, пока хоронила. Шибко Кольку жалела, последнего. Его без Илюшки родила, он меня с брюхом оставил. Думала, хоть с малым ребенком останусь, так налог платить не буду. Пришлось налог платить.

30 апреля. Ходил в Блудново за матерью. Перевозить ее на моей резиновой душегубке среди несущихся бревен мне самому было жутко.

Записи по дороге. А снег-то хрустит! И всегда по-разному: зимой один скрип — сухой, жесткий; весной — мягкий, чавкающий, а по заморозку — колющий, режущий, стеклянный.

Богатырь. Я стараюсь казаться не таким, каков есть. Не силач (богатырь) я, а ледащий, лодырь не работящий, во всем не настоящий. Надоело казаться не таким, каков есть. Как умирать буду. Непутевая жизнь.

Подходим к Скочкову. Думал, мать любуется березняком, а она — о дровах: «Дров-то сколько растет, и все березовые». Мать вспоминает о своем детстве, о своей юности в Скочкове.

— Это вот поле называется вобчина — раньше всем миром новину рубили. Стали жать первую рожь. Меня с Сашей — детей, поставили двоих вместо одного взрослого. А мы, каждый, ни одним снопом взрослым не уступали. Через день нам отказало обчество.

Глава в повесть: «В овине». Описать овин: пожог внизу, под колосники. У очага внизу всю ночь сказки рассказывали. Вроде «Бежина луга».

Ребятишки собирают сосновые шишки. Килограмм — 6 копеек. Рубят сосны, губят лес. Шесть копеек сосна.

1 мая. Слова Анны: «телеграммный столб», «щековитая, как сорока» (про Палю), «ревизь в лавку приехала».

4 мая. Все-таки Бобришный Угор — место редкой красоты, из-за одной сегодняшней ночи, из-за одной этой лунной тихой, правда еще холодной ночи стоило строить мою избу. Внизу сияет вода — как море, глубины ее кажутся неизведанными, дали бесконечны, за рекой бобочет заяц, с вечера токовали тетерева. На небе вокруг луны небольшие спокойные облака, как оформление ее — все почти роскошная театральная декорация: настолько хорошо, что кажется неестественным.

Интересно, как мы называем людей деревни:

— Сегодня тоже ходил на ток...

— Кто?

— Ну этот, как его, Васька.

— Чей Васька?

— А я не знаю, как его фамилия-то. И по батьке не знаю.

— А как по-деревенски зовут?

— Миколы Енькина Васька, только ведь у него нет батька-то, его убили.

6 мая. Сегодня Егорьев день, «скотский праздник», будут первый раз выпускать коров на пастбище.

— Травы еще нет?

— Пусть хоть побегают.

— Празднуете Егорьев день, а коровы-то колхозные.

— Колхозные, а Егория признают. Коровы, чего с них...

В дождь перешел на Бобришный Угор около 2-х часов дня и начал писать стихи.

7 мая. Сегодня написано стихотворение без рифм «Когда мне трудно дышится». (Начал его вчера.) Ночевал на Бобришном Угоре, промерз. Ночью выпала небольшая крупа, на земле ее нет, растаяла, — узнал о ней только потому, что она сохранилась на моем столе и скамьях

на улице. Вчера дописал стихотворение «Я видел большую воду». Начал другие.

Лес по реке вчера не шел, сегодня тоже его нет. Вода опять высокая, но далеко еще до той, первой. На Баданихе поставлены боны, река перекрыта, скопление леса поднимает воду. Собрал букетик цветов на южном склоне Бобришного Угора, поставил его в стакан. Без конца топлю печь, изба тепло не держит.

Деревня Шёлково мне всегда казалась какой-то праздничной, радостной, светлой — вероятно, из-за того, что она стоит над рекой, на ее высоком берегу. Любая река, один вид ее украшает деревню и, конечно, сказывается на всем укладе жизни ее обитателей. В Шёлкове извечно делали лодки на всю округу, в Шёлкове всегда рыба, утки — рыбаки и охотники, в этом есть тоже что-то праздничное. То, что в Шёлкове один чей-то дом был каменный (кирпичный), связывалось в моем воображении с близостью реки.

Деревня Липово тоже стоит на берегу реки того же Юга, и там так же всегда была рыба (Федос-рыбак!). А все-таки Липово почему-то никогда не казалось праздничной деревней. Из-за чего? Может быть, из-за привитой с детства неприязни к липовцам (тяжба из-за земли, драки)? А может, из-за нелепого расположения домов в этой деревне: никакого порядка, где улицы, где просто дворы, окна в разные стороны, а на самых выгодных местах, по берегу реки — стоят бани — низенькие, перекошенные, черные...

Мать водил «на прогулку» до Переволок, где стоит затор. «Лягушки воргуют» — будет тепло.

8 мая. Пишу стихи (по стихотворению в день). Сегодня: «О, как мне трудно будет умирать!»

Интересно, что основная масса колхозников ныне почти не знает весенних полевых — да, пожалуй, и вообще полевых работ,— все делают «механизаторы» — тракторист, два. Сейчас пашут пар. Солома в валках на поле осталась, трактористы ее объезжали. Стали убирать ее через день-два после пашни — опять трактором же, но плеши уже остались. А на рубке дров в лесу уже ничего не рубят, кроме обрубки сучьев. Все стараются раздобыть бензопилу «Дружбу» — и она делает все.

Спрашиваю маму:

— Какой тебе лес больше нравится?

— Глёнется-то? Да все равно.

— Ну сосновый или березовый.

— На дрова лучше березовый.

Тетерева, да и любые другие птицы (и рыбы!), поднимаются по тревоге одновременно всей стаей, сразу. Кто подает сигнал — неведомо.

Может быть, какое-то незаметное для нас мгновение между тревогой и взлетом первой птицы и взлетом остальных все же есть, но человеческие простые (примитивные) органы не могут уловить его. Это доступно электронной машине, да и то вряд ли.

Набрал букет цветов под Угором, и он пышно распустился в моем граненом стакане. Какие же это цветы! О моя неграмотность!

Белки бегают у моего дома, и заяц был около моего дома, значит, и медведь придет, потому что дом стоит в лесу.

Трудно носить воду к моему дому: надо спускаться, скользко. Еще труднее подниматься. Зато половодье не пугает, потому что дом стоит на горе.

9 мая. Писать бы здесь ежедневно по страничке, как дневник: перемена пейзажей, все, что вижу, и так — три весны! Ну — две. Немного и о деревне, о смене указаний и соответственной перемене в поведении колхозных «вожаков». Но только не вмешиваться больше в их дела. не учить никого, не писать о них, иначе съедят.

10 мая. Сегодня доколачивал стихотворение «Дерево заболело» (так и не одолел, кажется?) и писал следующее: «Птицы сидят на гнездах». Задумал его сегодня же ночью в шалаше на току в летовище. Главное в нем птичий страх.

11 мая. Вчера с волнением заметил, что даже на березах уже явно заметны почки, а внизу под Угором ивнячок чуть-чуть зазеленел. Наконец-то! На кончиках веток зеленые капельки.

Думаю о прозе моей. Я, конечно, эмпирик абсолютный во всем, с той лишь особенностью, что эмпирики познают жизнь опытом, а я своими боками.

13 мая. Все, что было задумано о Бобришном Угоре: «три весны», природа, фенологические наблюдения и прочие красоты — все это сейчас легло бы в повесть о Саше. Это повесть о том, как природа, общение с ней, помогает человеку преодолеть страдание, горе.

14 мая. Сегодня с утра с необычайной скоростью, то что называется на глазах, стала убывать вода. Потом около 4-х часов дня густо пошел лес. Я понял, что спустили затор на Баданихе — Переволоке, бегом сбегал прямиком через Чистый бор, и точно: затора уже не было, только груды бревен остались на береговых скатах.

17 мая. Пожни за рекой. Лебяжье, Тягунья, Перевозиха, Теплецихи (это выше Бобришного Угора). А к Куданге, где Рябиновский мыс — Рябиновки, Луга, Летовище, Исада Петьки Миковкина, Летовище Антипки Полыжонка (Дуни Яшихи).

21 мая. На попутных грузовиках доехали до Никольска: мать, Мария и я. В Вырыпаево на машине. Красивый спуск к реке, дали.

Реки в Вологодской области: Кипшеньга, Кокшеньга, Куданга, Андонга.

22 мая, воскресенье. Николин день. Открыли заколоченную избу какой-то одинокой женщины, уехавшей в Мончегорск к дочери. Отопят ее, и я буду там сидеть.

Сегодня спал на чердаке. Мешали всю ночь «(с раннего утра) грачи. Кто-то в Никольске вырубил на участке все березы, чтобы избавиться от грачей. Сейчас я понимаю его.

Сразу после Москвы районные интеллигенты кажутся ужасными провинциалами, особенно женщины (учителя, райкомовцы), но стоит пожить в Блуднове, и те же районные женщины кажутся уже красавицами и умницами.

Малейшие изменения в погоде или даже предстоящие перемены сразу сказываются на поведении рыб, зверей, птиц (клев, тяга, токование и т. п.).

Дует сильный ветер, ждут дождя, который необходим для посевов. Мать говорит: «Ежели в Миколу хоть капля упадет, то засухи не будет».

23 мая. Сильный мятущийся ветер всю ночь и с утра.

Избу напротив сегодня протопили опять, но воздух там сырой, подвальный. Стоит ли мне переселяться с чердака. На чердаке моем хорошо, но слышны все разговоры и бесконечный крик грачей. Правда, постепенно привыкаешь к нему и перестаешь замечать. На жердях с двух сторон от меня висит лопоть после бученья (белье) — кучами и одежда: зимнее пальто, полушубки, ватники.

Спинжак — пиджак. Это переделка слов похожая на колоток (молоток), толпучка.

Для прозы. За кузницей на зеленых откосах мы ползали на коленях, выискивая «богородицыны ручки», и ели их. Что это за травка, я до сих пор не знаю. Среди листьев небольшие зеленые веточки, вроде черемуховой цветочной завязи, но самой ранней, только что отделившейся от листьев, вылупившейся из почки, с той лишь разницей, что у «божьей ручки» все ягодки-шарики были с одной стороны стебелька, и это был по-видимому не цветок, а плод. Поедать эти «ручки» было необыкновенно приятно, они хрустели на зубах, хотя ни одного ядрышка в этих плодовых образованиях не было. Потом — листочки и стебли щавеля. Он рос всюду. У нас его зовут кислицей, так же как и ягоды красной смородины. Щавель появлялся на заливных речных сенокосах почти сразу после спада воды. А еще разные ели мы «пистики» на мокрых низких полосах в паровом поле. Пистики — это молодые побеги хвоща. Они действительно походили на пестики. Есть их можно в сыром виде, очищая от кожуры, а еще лучше в вареном, чуть подсоленными.

Мне тогда казались они великим лакомством, а оказывается, это еда лишь голодных лет.

— Собираете ныне пистики, варите? — спросил я недавно свою мать-старушку.

— А на что они? — ответила она вопросом.— Нынче ведь не голодаем, хлеба привозного хватает всем, были бы деньги. С городской хлебопекарни по всему району развозят, только покупай, было бы купило.

24 мая. Вечером пошли на тягу. Оказывается, черемуха уже цветет вовсю: белые шатры ее хорошо громоздятся среди еще почти не зеленых деревьев. Комары донимают. Коростель (дергач) заскрипел совсем рядом с нами — оглушительно, резко и некрасиво. Кулика на гнезде, которого я нашел днем, с трудом разглядел в 4-х шагах. Он следил — увидим его или не увидим, вжался в землю. Мы «не увидели», быстро свернули в сторону.

25 мая. Читаю Л. Толстого. Перечитываю «Повести и рассказы» в 2-х томах. В первом томе здесь в Вырыпаеве прочитал «Казаков». Сегодня — «Разжалованный». А я не разжалованный ли? Снова выслужиться уже не могу, не умею, не хочу. Да и побаиваются меня.

И вот вхож по старому пропуску кое-куда. Не больше.

26 мая. Трудная была ночь, бессонная. Мешали грачи. Написал — «Новый берег».

Вечером были на тяге, но ни один вальдшнеп не показался, хотя погода была самая подходящая: тихо, тепло, ясно. Вот еще пример удивительного чутья птиц и зверей. Часов в 10 перестали петь даже соловьи. И в одиннадцатом часу при ясном небе вдруг сверкнула зарница. Около 2-х ночи была гроза.

28 мая. Троицкая суббота. За льнозаводом, где совсем недавно разобрали, уничтожили церковь, многотерпеливый русский народ поминает своих родственников. В основном женщины. На месте церкви работали мощные бульдозеры, следы их работы видны. Груды камня, и щебня, и земли — груды, а не ровное место. Кирпича для завода досталось от церкви совсем ничего. А красота уничтожена. И в народе, кроме горькой обиды, ничего не осталось.

Женщины молились груде земли и камней на месте, где раньше был алтарь. Вместо икон ставили пучки березовых ветвей и корзинки с едой для поминовения усопших. Кутью несли в стеклянных баночках — пятисотках.

Русский народ держится своих обычаев, своей старины — никакие бульдозеры не могут срыть память о красоте и нравственной порядочности, святости.

Праздничные женские толпы шли к кладбищу, к деревне Мякишеву часов с 9 утра. Из деревни Подол трактор с прицепом перевез женщин через реку вброд. Помянуть добром усопших, павших уже противозаконно, а на остатках Никольского кладбища молятся у могилы о. Сергия. В этом году не было официального запрещения Троицы и посещения кладбища. Раньше и до этого доходили.

29 мая, воскресенье. Троица. Ходили в деревню Подол к старому учителю. Деревня полна гуляющих гостей — в основном молодежи. Почти как в старину. Играют главным образом на тальянках — тальянок здесь много, как нигде.

В Вырыпаеве я получил два колокольца и колоколец с коровы. Маленький колоколец — звончик, большой — колоколец, коровий — колоколо.

31 мая. Никольск. Около 2-х часов встретили Белова В.И. Я рад Белову страшно. Он приехал ко мне.

2 июня. Бобришный Угор. В. Белов делает «гарнитур мебельный» для Бобришного Угора: столик, стулик на вырубленных окоренных стволинах сосновых, сучья вместо ножек.

Оказывается, тетерева все еще воркуют в разных местах. Слышал вчера и сегодня. Сидел над стих. «Почему-то без удивления».

Листья на разноплеменных деревьях как разрезы глаз у людей — косые и прочие.

7 июня. Везу в Москву: 1. Муку 30 кг. 2. Пестерь, пояса, сарафан старый, «парочку» дочери (сарафан, кофта, фартук), колокольцы и прочее.

5 июля. Ложь уничтожает красоту, искусство, поэзию, жизнь. Ржа ест железо, лжа — душу.

23 декабря. Чудом поспел на поезд 22–35 в Вологду. Еду больной. Командировка от Бюро пропаганды, затем от «Правды».

24 декабря. В 11 — в обкоме начало работы семинаров. Литературный вечер в Доме политпросвещения в пользу Вьетнама.

26 декабря. Положили в больницу № 2 (обкомовская).

1967 ГОД

1 января. В «Правде» мое стихотворение «Новогодняя почта» напечатано. А я уж не очень надеялся. Рад.

10 января. На вологодской выставке народного искусства. Пословица давняя, знакомая, наверно, всем русским; «Не боги горшки обжигают». В нашем районе ее расширили, привязали, так сказать, к местным условиям: «Но боги горшки обжигают, те же фоминцы». И стала эта пословица особенно близка и понятна каждому моему земляку. Фомин-

цы — это гончары из деревни Фомино, снабжавшие изделиями своих умелых рук не один Никольский уезд, а чуть ли не всю Северо-Двинскую округу.

Помню, на базаре сани, полные глиняных горшков, блюд, мисок, разноцветных с рисунками тарелок, переложенных сеном, сенной трухой... Помню, как они звенели, когда мужики брали сосуды на ладонь и стучали по ним толстыми, тоже лужеными ногтями. Где это все теперь?

Старичок, старушка, торговавшие на Вологодском рынке игрушечными крохотными лапотками и мокроступами. Как их гоняли милиционеры, как отъявленных тунеядцев, пока они не перестали плести свои дивные сказочные лапотки. Это была идейная травля. Зачем их преследовали, за что уничтожили, ради каких великих идей?

14 февраля. Выписался из вологодской больницы и дневным поездом приехал в Москву.

15 июня. Вечер в г. Тельшае. Вырос в деревне. И это главная тема всей жизни. От нее никуда не уйти (колхозник уходит из деревни). Хорошо в деревне дела идут — и мне хорошо, плохо — и мне плохо пишется и живется.

16 июня. Г. Шауляй. Вечер в драмтеатре. «Юстинас Марцинкявичус во время нашей праздничной поездки по вашей красивой стране уже не первый раз подает меня как некоего борца за правду и тем самым вроде как посылает меня на костер: иди, гори за правду! А мне жить хочется. Я не хочу быть самосожженцем и на костре гореть не хочу».

5 августа. Дал в Вологду телеграмму о согласии ехать по Волго-Балтийскому каналу.

22 августа. Выезжали из Москвы — шел дождь, и здесь дождь. В Вологду приезжаем около 9 ч. утра. С Голубковым сдали пачки стихов в «Красный Север».

Жалеть можно только других, но без расчета, что и тебя кто-то пожалеет. Себя пожалеть можешь только сам.

Шоссе Вологда — Череповец бетонка, первая ласточка в нашей области. Едем как по Латвии или по Литве. Один лес для медведей (шишкинский лес), другой для лосей, перелески, луговинки, заполосни — для зайцев.

24 августа. Наш теплоход: «Теплотехник». Почти всем отдельные каюты.

Для прозы. Красиво, когда деревня стоит на берегу реки или озера. Тогда с ней не сравняется никакая другая деревня. Пусть даже дома ее не новы и не очень обрядны и улицы не так сухи, все равно она хороша — и особенно, конечно, издалека, с воды. Вода красит и лес, и луга, и селения.

25 августа. Вечер в Кириллове всем был по душе, удался: и народу много, и мы были в приподнятом настроении. Я будто бы говорил очень хорошо. 1. О сохранении святых мест (монастырей) — истории русского народа и его великого искусства. 2. О поэзии. Сейчас и про любовь можно писать — печатают.

27 августа. С утра дождь. Половили рыбку и пошли дальше.

Дождь тихий грибной,
Не проливной.
Солнечные дождинки
Словно пушинки.

28 августа. Липин Бор — Вашкинский район. Село Вашки снесено, расселено, собор взорван. Тут рыбацкие колхозы.

Рубцов поэт редкого дарования. <...>

2 сентября. Были у секретаря обкома Другова. Рассказали о поездке. Просили опять за Рубцова. Обещал пока поселить в общежитии совпартшколы.

9 сентября. Лечу в Никольск. Заросшие поля, разваленные деревеньки — «сселение». Высверкивание речек, луж в лесу под солнцем. Утром купил 3 банки салаки по 3 кило в подарок маме, сестре, Анне. До Никольска 1 ч. 20 м.

Встретил секретарь по идеологии Плотников Андрей Федорович. Привезли прямо с аэродрома в Блудново. Дела в районе идут хорошо: уборку зерновых закончат к 15 сентября. Лен на стлищах. С сенокосом не управились, быстро поспела рожь.

Съездили на Бобришный Угор. Обкрадено все. Порваны портреты Льва Толстого. Нет инструментов, удочек, даже лопаты... Испугался обстановки дома, условий жизни.

Ночь на 10/IX. Уже 2 часа. Я проснулся вскоре после 12 и вот лежу в страшном смятении и тоске. Как жить дальше, где жить?

Уже давно у меня появилось желание творческого одиночества — этим объясняется и строительство дома на Бобришном Угоре, и приобретение однокомнатной квартиры на Аэропортовской.

Когда-то мне совершенно точно представилось, что лучших условий для моей работы, чем у Анны в Скочкове, мне не найти. И зря я тогда не остался у нее надолго. Все-таки за короткое время написал у нее и «Вологодскую свадьбу», и «Две берлоги», и мелкие рассказы, и пачку стихов. После того ничего не могу написать.

И стал бояться деревенских условий жизни — духоты, отсутствия воды, света, прочих разных удобств. А главное — кто-то со мной должен жить душа в душу.

10 сентября. В начале сентября я снова приехал на Бобришный Угор.

Бобришным Угором я сейчас называю не только облюбованное с детства место в лесу над рекой, где теперь стоит мой охотничий дом, но уже и деревню Блудново, в которой я родился, и район, и город, где началась моя сознательная жизнь, и вообще Родину. Вся Родина моя — Бобришный Угор. Поэзия — тоже он. Завершение моей жизни на Бобришном Угоре.

Приехал я по истошному зову родных, по письму матери: «Шура, опять опоздаешь, грибов в этом году невпроворот, прямо ступить некуда. Обабки да беленицы никто и не берет, не до сушеников, когда грузди пошли, хоть с колен не вставай. Такого давно не видывали. Смотри будешь волосы на себе рвать, коли опоздаешь...»

Едва добравшись с аэродрома до деревни, наспех выпив чаю с городским водителем, который меня встречал, я схватил корзину и на том же «газике» покатил в свою обитель. Да, грибов было столько, что по моей лесной дороге к Бобришному Угору было как-то неловко, стыдно, странно ехать. Грибы росли прямо посреди дороги, в колеях, зарастающих травой, под каждым кустом, у каждого пня. Мы их давили, мяли, колеса скользили на них, почти буксовали. Наконец я не выдержал, взмолился: больше не могу, остановите машину, лучше пойдем пешком.

Мы пошли пешком. Но мы не шли, мы ползли на коленях. Листья уже опадали, но грибов на дороге было больше, чем желтых листьев. В основном это были подберезовики, или обабки, как их здесь почему-то называют. Подосиновики, или красные грибы, встречались реже и если уж встречались, то огромные, как свадебные пироги или как сковороды, — возьми сковородник и подбирайся с краю.

И подберезовики и подосиновики в наших местах не солят, не маринуют, только сушат — в печи, на соломке,— потому и называются они сушениками. Сушеники — и маслята, и моховики, и даже белые. А все прочие, что идут в засолку, зовутся солоники. Но их не так уж много: на первом месте грузди, затем идут рыжики, волнушки — вовденицы, красные и белые боровики, разновидность рыжиков, и, наконец,— на худой конец — беленицы — сыроежки всех цветов. Вот и все известные нашим людям грибы. А остальные — бесчисленное множество отличных, благородных, деликатесных вроде опят, или чушек, или шампиньонов — считаются собачьими губами, то есть погаными.

11 сентября. Первый день спал в старой избушке с матерью. В 9 часов утра иду на Бобришный Угор. Опять думаю стихами. Копают картошку — не до груздей.

Поэма ухода. Ухожу от друзей, от города — в звуки леса, лугов, как Лев Толстой от своей семьи. От тщеславия, от борьбы за власть, за закрытый распред и паек.

Грибов так много, особенно на дорогах. К 12 часам принес корзину сушеников (подберезовики, подосиновики, маслята). На Чистом бору нашел только один груздь. Корзину грибов можно набрать вокруг дома. Сходил за реку, белых не нашел. Очень много подберезовиков, устаревших и того больше. Сколько грибов гибнет зря.

Наступило, видимо, бабье лето. Тихо, солнечно, сухо, только ночи холодные. Вода в реке очень холодна. Листья на черемухах побагровели, — не знаю даже, что и за цвет: бордовый и ярко-оранжевый, зелень и золото. Вязы еще зеленые и здесь, как на Темном мысу под Вологдой.

Вечер. Мир затихает. С озера пролетели две пары уток за реку, на кормушку (?) — в 17-30. В 17-45 полетели журавли: слева от меня клин в 40 птиц, справа — только 8. (Я сижу за столом у дома.) Журавли переговариваются нечасто, спокойно. В большой стае в правом крыле ее только две птицы, в левом, стало быть, 38. Очень тихий вечер. Солнце вот-вот сядет, вершины деревьев еще освещены. Всё — и вершины потухли (18 ч.). Слышно, как в деревне бренчат колокольцы на коровах,— у нас их зовут колоколами, переговариваются люди — слышны в основном женские высокие голоса.

Долго не растапливалась печь — мать начала топить с 14 часов. И только часов в 17 пошел дым из трубы. В 18 часов я удивился, что этот дымок из трубы уже застлал весь левый, противоположный берег реки, как много его оказалось. Может быть, это вечерний туман уже стелется над рекой и берегом? Нет, это пока только дым от моей избы. Ночевал в Блуднове.

12 сентября. С утра за груздями я и Саня. У нас все птицы — потки, все цветы — бабурки. Почему обабки подберезовики? Осенью — пинок (гриб), зимой — пирог. «Если вовремя посеять — деффект будет (эффект)».

19 сентября. Утром по радио из Никольска передавалась запись моих слов и стихов, сделанная на Дуниловской дороге.

План — приусадебный участок. На плану — картошка. У Анны урезан участок, земля пустует рядом, на ее же участке, но пахать ее, обрабатывать, засевать нельзя. И так у многих. А люди, пользуясь этими обрезками, жили бы сытнее, меньше бы требовали от государства, меньше бы хлеба покупали в магазине.

В 11 ч. 30 м. мы с матерью пришли в Скочково (вышли в 9-30). Я перебродил в сапогах-бродняхи и мать перенес. У Анны в избе ясли — 6 детей, несколько люлек, на половиках «ползунки». Я растерялся. А ведь опять ко всему можно привыкнуть и писать.

У Прокопия Нестеркова купил пестерь за 3 р. и две пары лаптей по 50 к. (я дал 1 р. 50 к., он отказывался «Не сбивай цену».).

На лугах расстелен лен. Плохо, когда он лежит вблизи лиственных рощ — опавшие листья засоряют лен, засыплют так, что и не видно порой. В избах в Скочкове снопы овса в переднем углу — это «гостьи», символизирующие окончание жатвы.

Мать осталась в Скочкове, а я решил переночевать в своем доме на Бобришном Угоре. Вышел из Скочкова в 17 часов. В 18-15 был уже в доме. Перебродил через Кудангу и Юг. Весь лес уже желтый. Истопил печь, напился чаю. В 19 часов уже совсем темно. Все-таки жутко одному в лесу. Странно это, но, видимо, все связано с воспитанием, с суеверным детством. Когда подходил к дому, из окна чулана вылетела желна. Значит, этот черный дятел продолбил 2 отверстия поверх моих окошечек, потому что хотел, как заведено, иметь запасные выходы.

20 сентября. Бобришный Угор. Ночь была трудной. Топил печь долго, а все мерз. И жутко было. Я совершенно один в этом мире, в этом лесу, у меня никого нет на свете близкого, кому бы я мог полностью довериться. Просыпался, опять топил печь и боялся выходить в темноту, на улицу.

К 6 часам утра был уже в деревне. Но я опоздал: Берсенев приезжал за мной на охоту и уехал. На чужом «газике» помчались по следам — к Новому полю, поворот — к гумну в Пермасском поле и далее — к Пригороде. За Пригородой я дал два выстрела — и выбежала из лесу собака. Стал кричать — отозвался и Берсенев. Подранили большого зайца, его потом отняла у какой-то черной собаки баба Верка. Берсенев убил другого зайца — маленького. Я стрелял по тетереву, по вальдшнепу — мимо.

Ушел на Бобришный Угор. Стержень в ручке оказался без пасты. Жарил грибы, варил картошку. Болит сердце — и буквально, и в переносном смысле.

21 сентября. На Бобришном Угоре. Сегодня ночь была сравнительно не холодной. Я даже не подтапливал печь. С вечера заходила Саня, принесла лампу. С 6 часов утра ходил за рекой — рябчиков не видал, есть грузди. Набрал белых, чтобы жарить. По просеке вышел выше Дресвы и плыл на плотике до 9 часов.

Пишу начатое вчера стихотворение про мухоморы. Солнечный золотой тихий денек. Осень так неправдоподобно красива и тиха, что я то и дело недоверчиво озираюсь: нет ли и тут какого-нибудь очковтирательства.

22 сентября. Утром собирал грибы. С ружьем бродил по болоту к Летовищу, вышел на Чистый бор. Умываясь в реке, долго следил за раком: он медленно двигался, затем нашел нору, залез в нее сначала головой вперед, осмотрелся, вылез, переворотился и залез уже задом вперед, клещами и усами наружу, и то выдвигал их, то прятался совершенно.

А часов в 9 утра пришли на Бобришный Угор мать с Анной — они пришли в Блудново вчера вечером. Принесли еще два пестеря. Водил их в лес за грибами, за реку переносил на себе. В 5 часов вечера, когда мать с Анной ушли, Саня принесла пакет — верстку «Бессонницы», при ней письмо от З. К.

23 сентября. Сегодня был очень сильный иней. Утром по первому инею очень страшно бывает выходить из теплой избы. С непривычки. А зимой — в мороз, в метель? — ничего. Вчера часов в 8–9 вечера прошел мимо меня плотик с козой — рыбу лучат, колют. «С лучом прошли».

Слишком люблю удовольствия, ходить по лесу, по реке — за грибами, с ружьем, люблю терять время в кино...

На муравейнике ни муравья. Синички появились около дома — веселые, энергичные, посвистывают... К 3 часам дня вышел в деревню в баню. После бани собрал мужиков, строивших дом, и поставил 3 бутылки водки.

24 сентября. Подготовил к отправке верстку «Бессонницы», а самому в Никольск ехать неохота. Удил. Варили с матерью уху. Ночую в Блуднове. Сплю плохо.

26 сентября. Сыро. С утра моросит. Я совсем заболел и не могу понять, что со мной. Умереть бы! Письма от З. К. нет. Мать говорит, что гроба раньше сами себе делали заранее. Один так сделал гроб и лет десять еще жил, а в гробу хранили горох. Мать ушла. Часы у меня стояли. Весь день лежу: странная слабость в сильнейшей степени, не с сердцем ли что?

Часов в 6 вечера я сошел с крыльца уже в сумерках, и вдруг над головой перепуганно шарахнулись 2 утки. А я думал, они уже все улетели. Перечитал «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «Цыганы», «Полтаву».

27 сентября. С врачами и Саней уехали с Бобришного Угора совсем.

30 сентября. Ветер. Снег. Убил зайца в Новом поле с чужой собакой. Гости — погиб весь день: редакция, 6 человек.

1 октября, воскресенье. Снежок опять. Уехал в Никольск.

3 октября — в Шарью.

1968 ГОД

4 апреля. Чутье. интуиция даны художнику по-видимому как и талант, поэтому в его творчестве, в стихах предчувствием определяется многое гораздо раньше, чем осознанием. Я еще в 66 году написал

«Отходную» и многое другое из того, что определило мой сегодняшний день. В Академгородке я начал писать поэму с мольбой о куске шагреневой кожи — она тоже шла от предчувствия.

16 апреля. Жалкую все-таки жизнь я прожил. А ведь мог... Мог!.. Вот что значит отсутствие дисциплины. Первая же настоящая выволочка, и я вышел из строя. А ведь можно было принять за успех, может быть, это и был первый мой настоящий успех. Молился на Льва Толстого, и только, пожалуй, на него одного всю жизнь, а писал о Кольцове, о Некрасове... Позвонили — и написал. Кто же мог мне позвонить о Толстом, кто доверил бы мне писать об этом великане? Да и сам я не решился бы, не достоин...

Прошу отвезти меня или мою урну на Бобришный Угор. Только на Бобришный Угор. Место под березой давно выбрано, Злата Константиновна его знает, знают и мои родные (сестра, мать). Обращаюсь с этой просьбой ко всем — к сыну, к дочерям, к Союзу писателей Вологды, к Вологодскому обкому партии и ко всем друзьям моим: хочу быть только на Бобришном Угоре, против крыльца моей избы, под березой у изгороди, над обрывом.

Александр Яшин.

Больше никаких просьб у меня нет.

5 мая. Сейчас я буду говорить рассказ:

Все больше уставая, слабея, человек просит сделать то, что он не успел сделать, выполнить обещанное им: разослать книжки с автографами, перевести деньги матери, вернуть другу долг, помириться... Много всего: долгов, и обязательств, и невыполненных добрых дел. Последние слова: «Скажи Богу...» — и тут он умирает. А жена говорит, поправляя его: «Ну, это ты уже сам скажешь. Душа-то, она сильнее тела, понимаешь?»

3 июля. Талантов у нас тьма-тьмущая... Миллионы! И миллионы их гибнут. От лени. Работа, работа. Это касается и художников, и музыкантов, и вообще всех. Мы были у Паустовского в Тарусе и в одной избе услышали, как работает Рихтер,— повторяет, повторяет... Потом выбежит — и до лесу, и обратно. И от всех бежит. Сколько же было примеров у меня... Сельвинский. Как он работал, как... Да, Пришвин — целое лето жили около него в Дунине. Я даже записывать за ним ленился. Паустовский... Симонов — как работал: от и до, от и до стенографистке, которая потом расшифровывает. Мне бы сейчас еще немного пожить, чтобы дописать. «Для кого строился дом» — это главная моя книга. Много написано в карточках... Большая крестьянская семья — дети, дети. Вырастают. У каждого своя судьба: кто убит на войне, кто уехал учиться, кто на «колхозном фронте» погиб, кто на лесозаготовках.

Удачная жизнь, нелепая жизнь, светлая смерть. От всей семьи остается старуха. Дом готов. Дом строился для сыновей, для внуков... Для кого строился дом?!

9 июля. Случись гроза — засверкают молнии. Продрогнет человек — зуб на зуб не попадает. А молнии все ярче, все ослепительнее, все трескучее, и все кажется, что они летят именно в него. И вот самодовольный, самонадеянный, всемогущий «царь природы» кидается укрыться под первый кустик, под первую березку — не от ливня, он и так уже вымок, больше некуда, а от страха перед молнией, перед этим чудовищным грохотом над головой. И опять, по-прежнему, человек становится «рабом природы».

Одна часть памяти золотая, другая серебряная. Все во мне из двух частей: одна — старая, другая — молодая. Два человека во мне. Крыльцо большое, резное, стоит один человек старый, другой молодой — эти два человека контрастируют, но не противостоят друг другу. Один накопил мудрость. А другой еще только в начале этого накопления.

И так я весь представляю собою как бы два потенциала, полярных. Каждый предмет раздваивается, в каждом предмете опять-таки два начала. Может быть, это положительное и отрицательное.

А. ЯШИН. СТИХОТВОРЕНИЯ

ОТХОДНАЯ

О как мне будет трудно умирать,
На полном вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею —
Покидать,
Боюсь не встреч возможных —
Расставанья.

Несжатым клином жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданья отзывался глухо.

Не завершил ни одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва.
Куда уж там летит —
Ее по свету шалый ветер носит.

Потери сердца людям не видны,
А радости стучатся в дверь все реже.
Ни от своей,
Ни от чужой вины
Не отрекаюсь,
Но долги все те же.

Сбылось ли что?
Куда себя девать
От желчи сожалений и упреков?
О как мне будет трудно умирать!
И никаких
нельзя
извлечь уроков...

1966

О ПОГОЖИХ ДНЯХ И ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

Когда мне трудно дышится
и кашель,
подобно минометному обстрелу,
гнетет к земле, —
последствия войны! —
когда врачи ничем помочь не в силах,
в груди и слякотно и непролазно,
как в бездорожье, —
я стараюсь вспомнить
о днях погожих,
светлых и сухих,
а их в году бывает больше все же,
конечно, больше,
чем промозглых дней.
И любопытно:
вдруг слабеет кашель,
продует бронхи свежий теплый ветер,
как будто две таблетки антастмана
я проглотил
иль подышал в бору,
на родине,
где мы живицу гнали...

Когда меня сгибают неудачи,
растерянность душой овладевает,
бессонница и страх, —
бывает все! —
я вспоминаю о хороших людях,
о тех, мне близких
и не очень близких,
а просто повстречавшихся в дороге,
о людях с чистой совестью бойцов,
которых больше все же на планете, —
конечно, больше! —

чем приспособленцев,
чем карьеристов и самоснабженцев,
бесстыжих болтунов и графоманов, —
и мне становится легко на сердце,
ну, не совсем, быть может,
но спокойней,
и хочется еще пожить на свете,
полюбоваться небом и землей.

1966

ЭКО ДЕЛО!

Дерево пожелтело.
С этого началось:
Что-то в нем задубело,
Сдвинулось,
Надорвалось.

Может — слоев смещенье,
Скрытое до поры,
Как при землетрясенье —
Складок земной коры?

И потекла живица
Лавой
К ногам ствола,
Чтоб янтарем сгуститься;
Может, начало зла

Было в безмерном росте:
К небу вознесено,
Стронцием —90
Дерево облучено?

Или жучки-короеды
Взяли его в полон?..
Сверху валились беды,
Снизу,
Со всех сторон.

Кто-то инициалы
Вырезал на стволе,
Сук в снегопад сломало...
Мало ль какие шквалы
Гнули его к земле!

Желтые в хвое пятна —
Желтая сыпь в бору.
Поналетели дятлы,
Выстукали кору.

Выдюжит ствол могучий, —
Жалко его рубить!
Может, на первый случай
Следует полечить?

Может, лишь отдыхает,
Не умирает оно,
Просто наряд меняет,
Стужей обожжено?

Просто чуть приболело.
Справится —
Не бревно!

Но уже все решено:
— Дерево?
Эко дело!
Лесу вокруг полно.

1966

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

По опушке рощи,
Около воды —
Вязью по пороше
Свежие следы.

Разбираю почерки:
Вот чей-то скок,
Лисьи цепочки,
Птичий бисерок.

Кривули чьи-то —
Чьи? — не узнать —
Прошвой вшиты
В белую гладь.

Протянула мышка
Тесьму хвостом...
Вязанье,
Вышивка
Гладью
И крестом.

Косачи — крестиком,
Рябчики — то ж;
Куропаток шествие —
Понимай как хошь.

Заячье плетенье —
Смех и грех:
След с оформленьем —
К ореху орех.
Чудо, что творится,
И все — на виду:
Не птицы — кружевницы,
Пяльцы и спицы,
Коклюшки в ходу.

Вот как разделано!
Дивлюсь пестроте...
Все на снежно-белом
На тканом холсте.

1966

СОЛОВЕЙ

Черт его дери — соловья!
Всю весну горю, как на огне.
Но писать о нем не вправе я
Ни в стихах, ни в прозе:
Стыдно мне.

Стыдно тыщи лет воспевать
Птичьи трели
Да небесный свод...
А ему-то, соловью, плевать:
Знай себе работает —
Поет.

1966

НОВЫЙ БЕРЕГ

Никаких таких Америк,
Знаю, не открою.
Юг-река меняет берег
Под моей Горою.

Клин песчаный намывает
Под обрыв сосновый,
Удлиняет,
Уплотняет...

Где-то старый берег тает,
Нарастает новый.

Верю, примутся деревья
На косе посадом.
Встанет целая деревня
С моим домом рядом.

Даже город будет, верю.
Пусть не очень скоро...

Намывает новый берег
Под моим Угором.

1966

ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ

Почему-то без удивления
Смотрим на небо, на поля,
И — восторженно,
С умилением
Пересказываем сновидения,
Хоть и в снах
Все та же земля.

А деревья-то зеленые!
А в озерах
Вода в цвету.
А в воде, что стрелы каленые,
Листья длинные,
Заостренные,
Оголенные,
Опушенные...
И все тянутся в высоту.

В небе крылья птиц распростертые,
Тучи, радугами подпертые,
Камни скал в кореньях витых.
Видно, скалы тоже не мертвые,
Раз деревья растут на них.

Над рекою кручи размытые.
Я на срез отвесный гляжу,
Будто в недра земли открытые
По ступенькам цветным вхожу.

Налюбуюсь ли на нарядную,
Ненаглядную землю-мать,
Непарадную,
Неоглядную?..
Так всему в этом мире радуюсь,
Будто завтра его покидать.

И тоскливо мне одному —
Будто завтра конец всему.

1966

КУЛИК

В болоте целый день ухлопав,
Наткнулся я на кулика.
Он из гнезда, как из окопа,
Следил за мной издалека.

Как трудно быть ему героем:
Того гляди, возьму живьем,
А он один в гнезде своем,
Как в поле воин
Перед боем
С противотанковым ружьем.

Взлетать иль нет?
А вдруг замечу,
Со всем хозяйством загублю?
А не замечу —
Искалечу,
Ногой сослепу наступлю?..

Зачем играть со смертью в прятки?
Я на него взглянул любя
И — мимо, мимо без оглядки...
Сиди, родимый,
Все в порядке,
Я просто не видал тебя.

1966

ГЛУХАЯ ЗИМА

Ночь долгая, как на полюсе.
Как на зимовке мы.
У хвойного ветра в голосе
Дыханье глухой зимы.

Почти нежилые, мертвые
Дома на краю земли, —
Похоже:
Во льдах затертые
Безмолвные корабли.

А я — под медвежьим пологом,
От шерсти спирает дух.
Ударил бы где-нибудь колокол
Или рубанул петух!

Все путано-перепутано,
Не спится,
А вижу сны.

Наверно, до зорьки утренней
Не ближе, чем до весны.

Над башенкой лопоухою
Дрожащие огоньки.
И буфера не бухают,
И не гудят гудки.

Совсем извела бессонница...
Лежу, напрягая слух:
Во всем городке ни звонницы
И хоть бы один петух.

1966

ЛЕСОСЕКА

Птицы еще на гнездах,
Будто в тепле папах,
Но уже хвойный воздух
Выхлопами пропах.

Вклинились лесосеки
В мир, где перо и пух,
А ведь казалось —
Вовеки
Здравствовать без заварух.

Визг бензопил страшен.
Если бы только он!
Сосны, как в рукопашной,
Гибнут
Со всех сторон.

Чибис машин не боится:
Гром —
Стало быть, гроза.

Но — человечьи лица!
Но — человечьи глаза!

В ночь подышав свободней,
Рябчики,
Глухари
Ждут, будто кары Господней,
Индустриальной зари.

Некуда скрыться,
Нечем
Гнезда от бед прикрыть,
Втягивай голову в плечи,
Если охота жить.

Взвиться бы к небу
В паре,
Там никаких границ!
Но не парить,
А парить
Май принуждает птиц.

Сжались до неприличья —
Робкие,
Курья стать,
Даже обличье
Не птичье, —
Где уж таким летать.

Голодно и морозно.
Все ж,
Презирая смерть,
Птицы сидят на гнездах —
Надо ж кому-то сидеть.

Страх изнуряет, треплет, —
Терпят всему назло,
Лишь бы птенцы окрепли,
Встали бы на крыло.

1966

В КОНЦЕ ПУТИ

Пашни, поженьки, перелески,
Как в кино скоростном, летят.
В окнах мечутся занавески,
Будто выброситься хотят.

Для последнего перегона
Вместо дымного паровика
Встал в упряжку к мокрым вагонам
Черт с рогами,
В броне бока.

Отшатнулся состав в испуге,
Напружинился, задрожав.
К проводам подлетели дуги,
Словно вожжи в руки зажав.

И — пошел!
Мимо людных станций,
Без стоянок,
Скорей, скорей!
Визг железа,
Да стук дверей,
Да мелькают протуберанцы
Электрических фонарей.

И чем ближе конец дороги,
Дом, семья, —
Тем сильней, больней,
Тем неистовей гром тревоги
На путях
И в груди моей.

А потом,
Будто с крыши голубь,
Крылья складывая на лету,
Я с вокзала валюсь как в прорубь,
В суматоху и суету.

1966

Сергей ОРЛОВ

КУРОРТНИКИ

А. Яшину

Сверкали горы в небе гранями,
Пейзаж был ярок и величествен,
Два земляка, два северянина,
Ходили по земле таврической.

А над горами, как пожар, еще
Катилось солнце — море плавило,
Но было грустно двум товарищам,
Одетым по курортным правилам.

На юге загрустив о севере,
О всех делах, что там оставили,
Один подумал: «Как посеяли?..»,
Другой: «Как лес на реках сплавили?»

Как там район живет, работает,
Да как там планы выполняются,
Когда они здесь, беззаботные,
По бережку у моря шляются.

Но не любили громких фраз они,
И про дела свои хозяйские
Вслух было ими просто сказано
Совсем не так в то утро майское.

Один сказал: «На Белом озере
Еще остатки льдин мерещатся,
И цвета моря море озими
В полях за Белозерском плещется».

Другой вздохнул: «У нас за Вологдой
Черемуха в Никольске пенится,
И, значит, ветер веет холодом,
А здесь куда от солнца денешься?»

Альберт КРАВЦОВ

ПОЭТУ АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ

Вот чудо: яшинский цыпленок,
явившийся из скорлупы.
А мы, наверное, слепы,
быть может, видим жизнь спросонок,
когда не чуем, что могли б
спасти несчастных, обреченных,
вниманьем одарить спасенных,
кров разделяя с ними, хлеб.
А мы порой уходим слепо
от них, кто просит нас помочь,
кому без помощи невмочь.
А их спасла бы крошка хлеба,
минута нашего тепла,
секунда нашего участья.
И нет, наверно, выше счастья,
спасая жизнь, сгореть дотла.
Так жить, чтоб в нас еще с пеленок
зло не оставило следа!
О чудо, яшинский цыпленок
и яшинская доброта.

ПОХОРОНЫ ЯШИНА

Есть фотография такая:
Проносят люди полем гроб.
Пшеница клонится густая,
Решив, что умер хлебороб.
А перед гробом первым самым
Я узнаю: идет Рубцов,
Несет венок — зеленый саван,
Задумчиво его лицо.
Жара стоит, и в небе синем
Струится жаворонка песнь...
Идет процессия России,
И вся Россия рядом, здесь.
Сейчас она минует поле
И в темный лес войдет, грустя.
Я знаю: вспомнит детство Коля,
Потом, как был он тут в гостях.
Как пели песни на Угоре,
На лавке, что створил Белов,
Ломали копья в разговоре,
Без матершинных, впрочем, слов.
И всех неистовей, всех ярче
Шумел, кого сейчас несут,
Над кем, как мать, Россия плачет
И стонут иволги в лесу.
.. .Бобришный. В хвою дом украшен.
И зев могилы перед ним...
Весь мир отсюда видел Яшин,
Он остро был ему родным.

Олег КВАНИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯШИНЕ

Казалось, не читал, а думал вслух он
О том, что видел памятью вдали,
И голос то легко звучал, то глухо,
И шли слова, из дальней дали шли...

Однажды вечером, пожав мне руку крепко,
Он с милою улыбкой произнес:
— Есть у тебя в стихах рябиновая терпкость,
Но вкус рябине придает мороз!..

И был мороз, и ветер окаянный,
Томительный, как вой голодных псов...
Теперь бы мне не показалась странной
Рябиновая горечь этих слов.

Борис ГУЛЯЕВ

К ЮБИЛЕЮ

Поэты не имеют возрастов.
Их юбилей — обычная формальность.
Пройдут сквозь временной покров,
И свежесть сохранят, и ясность.

Мы судим человека по делам —
Что в этот мир принес и что оставил.
Несёт иной сюда и смерть, и хлам.
Поэт же света и любви на всех прибавил.

«Спешите делать добрые дела!» —
Не раз художники взывали к миру.

Не раз тропинка скорби привела
На путь добра, дала им в руки лиру.

И ныне, отмечая юбилей,
Благодарю судьбу, что нас свела,
Вновь повторю слова. И нет верней:
«Спешите делать добрые дела!»

Герман АБРАМОВ

Я ДУМАЮ О ЯШИНЕ —ПОЭТЕ...

Я думаю о Яшине — поэте,
О мудром вологодском мужике,
И чувствую, что перед ним в ответе
Все те, кто жил от жизни вдалеке...

Являлись праведники — не святоши,
Являлись мыкать горе за других,
И нет, наверно, в мире чувства горше,
Чем знать, что с нами нету больше их.

Да, это так. Да, их на свете нету.
(У смерти безразличье к именам...).
И всё —таки они, подобно свету,
Сквозь тьму небытия приходят к нам.

И он, поэт из северного края,
Нас приобщал к горящему перу,
Которое горит и не сгорает,
Нам греет души и зовёт к добру.

И в том огне ни пепла нет, ни дыма,
А только чистый пламень честных строк.
И тот огонь — неодолимый:
Он вечное начало — не итог!

АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ

Мужиком ты был и горожанином,
Чувства чуткие тебя вели:
Оставаясь до конца вологжанином,
Ты любил и многоликость земли.

Работягой ты был и ревнителем
Чистой совести и мудрых строк.
Ты Поэзии был строителем —
Отдал будущему всё, что мог...

В твоей утренности и вечеровости
Крутолобые метались ветра...
Сколько во внешней твоей суровости
Было внутреннего добра!

В почву вечности врастая,
Ты воспрянул над светом и тьмой,
Словно жимолость лесная, —
Неоглядный и прямой.

Виктор БОКОВ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

Растягивался! Был, как хлыст.
И терпелив, как шахматная пешка.
Бледнел, как предосенний лист,
И что-то думал неутешно.

— А я тебе сварил уху.
Сварил картошку.
— Эка невидаль! —
С тревогой лез в карман.
— А где ключи? —
Ловил слова своим рыбачьим неводом.

— Ты труженик! Ты не ленивец! —
Мне говорил, одновременно миру.
— Давно у нас в стране вожди сменились,
А жизнь никак не набирает силу!

Он был аскет. Он блюл посты,
Он придавал всему значенье.
Просил:
— А ты меня прости!
— За что?
— За все без исключенья!

Не умер он, ушел в скиты,
За дальние пределы пашен, —
От ежедневной суеты,
От незначительности нашей!

Виктор ГОНЧАРОВ

* * *

Мы выросли, пощады не моля,
Нас корчевали, били и топтали,
Но деревца из-под беды вставали,
Их поднимала мать сыра-земля.
Я знал, я видел: кается поэт
И мается, и не находит места.
Боль у него от Колымы до Бреста,
Хоть нет вины, но и покоя нет.
Я знал, я понимал, как ненавидит он
Тех, кто, хмелея от бездумной власти,
Толкует нам о недалеком счастье,
Загнав под стражу правду и закон.
Он не хотел быть чьим-то рычагом,
Он огрызался грозно и сурово,

Однако часто застывало слово
В его гортани огненным комком.
Я знал, я чувствовал, он до корней влюблен
В ту часть земли, что величают Русью,
В застолье, забываясь вязкой грустью,
Глядел на мир с большой надеждой он.
Сын Вологодчины, он рыжим был, что рожь,
Его глаза цвели неотразимо,
Он говорил: «Где колосится ложь,
Там правде дружной быть необходимо...»
Лес возрастал, пощады не моля,
Его то корчевали, то сжигали,
Но деревца из-под беды вставали,
Их поднимала мать сыра-земля.
То было дело не одной весны,
Поскольку с новым не спешит природа,
И вывелась особая порода
Ольхи и дуба, ели и сосны.
И стали замечать меж деревами
Деревья с обнаженными стволами,
Порода новая, бескорый звучный клен,
Что до корней в родимый край влюблен...
Ах, Яшин Саша, наша боль и слезы,
Родоначальник деревенской прозы.

Евгений ЕВТУШЕНКО

ПАМЯТНИКИ ЯШИНУ

Мать Яшина
у памятника Яшину
сидела в белом крапчатом платке,
немножечко речами ошарашена,

согбенная,
с рукою на руке.
Ей было далеко уже за восемьдесят,
но можно ли сказать,
что ей везёт?
Ей книжки сына из Москвы завозятся,
но сына ей никто не привезёт.
Не припадёт к ней головою памятник
мать не погладит бронзовых волос.
Речей наговорили самых пламенных,
а сына нет.
Ни сына нет, ни слёз.
Всё выплакано.
Всё давно отплакано,
и перед её бронзовым сынком,
мизинчиком цепляя
туфли-лаковки,
девчонки под тальянку —
босиком.
Гуляй,
пляши и пой, угор Бобришный!
И я спляшу —
не потому, что пьян.
Хотя я вроде «человек столишный»,
я русский —
тоже, значит, из крестьян.
И крепостная боль крестьянских ген
сильнее всех на свете перемен.
Себя старинно бабы приодели —
от сарафанов на холме красно,
и что-то тихим шёпотом кудели
рассказывает нам веретено.
Вот пионерка.
Галстучек взвивается.
Стихи читает —

значит, развивается,
а голосочек звонкий
над угором
звучит предсмертным яшинским укором:
«Из —за утёса,
как из —за угла,
почти в упор ударили в орла...
...Орёл упал,
но средь безлюдных скал,
чтоб враг не видел,
не торжествовал...»
Не могут сделать
камень или бронза
того, что могут
и стихи,
и проза,
покуда добротой не оскудели,
как руки вседержительниц кудели...
Казалось мне —
я понимал Россию,
но вновь её учился понимать,
и памятником собственному сыну
мне показалась яшинская мать.
И, осеняя мир
лесной и пашенный,
леса,
угоры,
реки,
ручейки,
вокруг стояли памятники Яшину —
живые люди,
а не рычаги...

Николай КУТОВ

ДОМ

Дом поэта построен в 1962–1963 гг.

Строили: Михаил Иванович Горчаков, Николай Васильевич Горчаков, Василий Антипьевич Горчаков, Анатолий Михайлович Горчаков, Илья Иванович Мишенёв.

Возил лес на тракторе Николай Михайлович Горчаков.

Мужики-земляки поэту
Над рекой построили дом,
Чтобы жил он здесь, в доме этом,
Стал он их сердечным приветом,
Их заботой, их общим трудом.
На угоре брёвна возили,
Место выбрали для жилья,
Николай, Михаил. Василий,
Анатолий, Иван, Илья —
Мужики из деревни Блудново,
Где когда-то он родился,
Где его зазвучало слово,
Где простилась в молчанье суровом
С ним деревня — родня его вся.
Но давнишние дни не забылись,
Пусть другие теперь идут.
Так, наверно, все с ним сроднились,
Что, живя без него, убедились
С горькой радостью — Яшин тут!
Хлеб, воспетый им, в поле зреет,
И, как прежде, солнце печёт,
С ним сдружившийся ветер веет,
Лес, любимый им, зеленеет,
Дом стоит и река течёт.

Лев ОЗЕРОВ

ОДНА СТРОКА

Спешите делать добрые дела.

А. Яшин

Как будто друга вынес из огня,
Как будто на груди рванул сорочку.
Давным-давно, еще в разгаре дня,
Ты написал навылет эту строчку.
Навыдох, вопрошающе, навзрыд...
Так написал ты, что зажглась бумага
И на щеках у нас зажегся стыд,
Стыд, за которым следует отвага.
Ты знал добро?
Ты мало знал добра.
И слишком рано ты ушел со света.
Спешите!.. Ах, не с кончика пера —
Из сердца выкатилась строчка эта.

Юрий ЛЕДНЕВ

* * *

Памяти
Александра Яковлевича Яшина

Над Бобришным угором —
облака, облака.
Заповедным узором
вяжет петли река.
Дом построен не на год.

Дом поставлен навек.
У грибов да у ягод
жил в лесу человек.
Утром малые птахи
заливались в лесу.
Шел он в белой рубахе,
нес косу на весу.
С пестерьком да бидонцем
уходил он в луга,
Чтобы выметать к солнцу
молодые стога.
То оттачивал слово,
то косу ладил он.
До деревни Блудново
долетал перезвон.
А по скошенным травам,
как святые грехи,
Золотою отавой
вырастали стихи.

Николай ФОКИН

ПОСОШОК

У меня в руках котомица
Дивной вышивкой украшена.
Я шагаю по околице
Незаросшей тропкой Яшина.
Кто он был поэт, крестьянин ли?
Где он жил—в Москве ли в Вологде?
Этот чудный северянин,
Что стихами околдовывал.
А расшитую котомицу,

Посошок резьбой украшенный —
Поднял я у той околицы,
Проходя тропинкой Яшина.
И раздвинулась околица,
Поклонилась мне и молвила:
«Если взял ты, брат, котомицу —
Спой мне так, чтоб слушать стоило!»

Леонид Лешуков

АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ

В красных бусах плачет осень.
В золотинках — бор.
Тишина бредет меж сосен
На крутой угор.
На рябинах по-над речкой
Шебуршат дрозды.
Занесло листвой крылечко
У твоей избы.
Огонёк не вспыхнет в печке,
Не скрипеть перу.
Не закуришь на крылечке
Трубку ввечеру.
И не сходишь на охоту,
Не сойдешь к реке,
Не побродишь по болоту
С кузовком в руке.
Всхлипнут сосны запоздало,
Разбудив покой.
Смотришь мягко с пьедестала,
Словно, как живой.
Простоит твоя избушка

Много-много лет.
Принесет цветы девчушка
Для тебя Поэт.
На Бобришном плачет осень,
Журавли кричат.
В чащу, где-то, сбились лоси,
Сосунки мычат.
На тропе лесной в Угоре
Твой оставлен след.
Ты, и в радости и в горе,
Жив для нас, Поэт!

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Яшин. «Я ОБРЕЧЕН НА ПОДВИГ...» 5

А. Яшин. БОБРИШНЫЙ УГОР.
Из дневников 1958–1968 гг. 7

А. Яшин. СТИХОТВОРЕНИЯ 48

ОТХОДНАЯ 28
О ПОГОЖИХ ДНЯХ И ХОРОШИХ ЛЮДЯХ 29
ЭКО ДЕЛО! 30
СЛЕДЫ НА СНЕГУ 32
СОЛОВЕЙ 33
НОВЫЙ БЕРЕГ 33
ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ 34
КУЛИК 35
ГЛУХАЯ ЗИМА 36
ЛЕСОСЕКА 37
В КОНЦЕ ПУТИ 39

ВЕНОК ЯШИНУ 41

Сергей Орлов 41
Альберт Кравцов 42
А. Колесов 43
Олег Кванин 44
Борис Гуляев 44
Герман Абрамов 45
Виктор Боков 46
Виктор Гончаров 47
Евгений Евтушенко 48
Николай Кутов 51
Лев Озеров 52
Юрий Леднев 52
Николай Фокин 53
Леонид Лешуков 54

ОН ВИДЕЛ ЖИЗНЬ С БОБРИШНОГО УГОРА

Александр Яшин. Дневники 1958–1968 гг.
Стихотворения
Воспоминания современников

Часть IV
«Я обречен на подвиг»

Составитель — *М. В. Береснева*
Редактор — *Ю. П. Малозёмов*

Сдано в набор 10.08.2012. Подписано в печать 20.08.2012
Тираж: 300 экз.